Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИБЛИОТЕЧКА
АГИТАТОРА И
ПРОПАГАНДИСТА

Выпуск 154—156

СЕРИЯ „СТИХИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ
ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ"
КНИЖКА 30

Михаил ШОЛОХОВ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „СТАЛИНСКОЕ ЗНАМЯ"
Пенза 1943

Смерть немецким оккупантам!

Р2 кр
Ш 78

Михаил ШОЛОХОВ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

(ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА)

Пенз. Обл. Б-ка
имени
М. Ю. Лермонтова
Читальный зал

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „СТАЛИНСКОЕ ЗНАМЯ"
Пенза 1943

9

На синем, ослепительно синем небе—полыхающее огнем июльское солнце да редкие раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге—широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам—словно вымершая от зноя степь: устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика.

Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. Сто семнадцать бойцов и командиров—остатки жестоко потрепанного в последних боях полка—шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Так же, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир второго батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком, так же покачивалось на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и припе-

женного в полк откуда-то из недр второго эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненные бойцы в грязных от пыли повязках.

Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой.

Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней! Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез... «Развинтился я, совсем раскис. А все это жара и усталость делают»,—думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага.

Теперь он шел не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков, и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих

бойцов соседнего батальона... А потом—бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окрапленными кровью...»

Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковых атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли...» — с горечью подумал Николай, вспоминая.

На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи, между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле позитель, убитого пулеметчика... Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому, что в колхозе нехватило рабочих рук; что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны заросший сорняками подсолнух; и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень, иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и, словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха? А потом Николай подумал, что все это — чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком—это просто дело случая: трях-

нуло взрывной волной и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно, оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами...

Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так итти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах.

Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну.

На склоне высоты ветер вылизал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали по оголенной почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор — с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, — и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой.

Молча шагавшие бойцы оживились. Послышались голоса:

— Должен бы привал тут быть.

— Ну, а как же иначе, отмахали с утра километров тридцать.

Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом:

— Родниковой, ледяной водицы по полведра бы на брата...

Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней, где-то надсадно кудахтала курица, за палисадниками сонно склоняли головки яркокрасные мальвы, чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что это знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж в знойном воздухе.

На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие, тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцою сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды.

Война докатилась и до этого, затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, впритирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски, в саду, непо-

далеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью, на отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледнозелеными недоспелыми антоновками.

Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул:

— А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней, какого же тебе еще хрена надо?

Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал:

— Вот так ты и письма от сына читаешь: прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.

Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал:

— Вода-то не очень хороша, только в ней и доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?

Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил:

— Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой?

И неожиданно для самого себя Николай ответил:

— Нет у меня жены. Разошлись.

— Давно?

— В прошлом году.

— Вот как, — сожалеюще протянул Звягинцев. — А дети с кем же? У тебя их никак двое?

— Двое. Они с моей матерью живут.

— Ты бросил жену, Микола?

— Нет, она меня... Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла...

Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того, ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний?

Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы:

—Что же она, стерва, другого сыскала?

— Не знаю, — сухо ответил Николай.

— Значит, нашла! — убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. — Ведь вот какой народ, эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалованье, какого же ей чорта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?

Взглянув внимательнее на затемненное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже два месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду, захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил:

— А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. — Главное — дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас — главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь, война-то разыгралась нешуточная. А женщина, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное женщина, я, брат, их знаю! Видишь рубец у меня на верхней губе? Тоже прошлого года случай. На первое мая я и другие мои товарищи комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вро-

де немецкого автоматчика: если зарядит что— не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать.

Была на этой вечеринке одна барышня, очень она хорошо «цыганочку» танцовала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет, а жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!». Вот, думаю, новое дело, что же мне на вечере зажмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу, с вывертом, до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, чорт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: «Через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть! Ты ногами вертела, а мне расплачиваться». И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху—в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня была тогда толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы—кровь, как при серьезном ранении.

Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Вот это самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я не взвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. «Что же ты, говорю, зверюга

женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий чорт! Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы»: «Так-то, говорю, вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность? Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться, имейте это в виду и дома мы с вами поговорим по душам».

Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила и — хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелкой, нет-нет, да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя, она опять—в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла, крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает.

«Ты, — говорит, — такой - сякой, новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается! Изменник! На всякую девку глаза лупишь! Жить не могу с тобой, с извергом!» — и все такое прочее.

Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит оживела, значит перезимуешь, милая!

Присел к столу, курю, гляжу — любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: «Уложу от тебя. У сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди, говорю, там тебе лучше будет». «Ах, вот как! — говорит. — Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня? Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила!»

Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кисет и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева да и сил не было, чтобы подняться и итти по солнцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал:

— Подумал я и говорю: «Что ж, Настасья Филипповна, вешайся, веревка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила веревку и — в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится.

А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я!». Эх, как она даст крышка со стола, да ко мне с кулаками: «Так ты рад бы был, если б я повесилась?! Такой-то ты любящий муж?!» Насилу ее утихомирил. Хмель с меня как рукой сняло, даром, что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: люди в народный дом пошли спектакль смотреть, а у меня дома—свое представление бесплатное. И смех меня разбирает, и на душе как-то невесело.

Вот на какие штуки женщины — это чертово семя—способны! Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было: забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти.

Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления:

— Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние два года испортилась она у меня. А испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу.

Восемь лет жили, как люди, работала она прицепщиком на тракторе, ни в обмороки не падала, никаких фокусов не устраивала, а потом повадилась читать разные художественные книжки, с этого и началось. Такой мудрости набралась, что слова попросту не скажет, а все с заковыкой, и так эти книжки ее завлекли, что ночи напролет читает, а днем ходит, как овца

круженая, и все вздыхает, и из рук у нее все валится. Вот так раз как-то вздыхала-вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит: «Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви об'яснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут». Меня даже зло взяло: «Дочиталась!» — думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты, Настасья! Десять лет живем с тобой, трех детей нажили, с какого же это пятерика я должен тебе теперь в любви об'ясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело! Я смолоду никому в нежных словах не об'яснялся, а все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану, не такой уж я дурак, как ты думаешь! И ты бы, говорю ей, вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала». А дети и на самом деле пришли в запустение, бегают, как беспризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве все идет через пень-колоду.

Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений и сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные интересные книжки: и уход за трактором, и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уже про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывало, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать, ты же трактористом работаешь». Думаешь, читала она? Чорта с два! Она от моих книжек воротила

нос, как чорт от ладана, ей художественную литературу подавай да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как опара из горшка. И ругал, и добром просил — не помогло. А бить ее — в жизни не бил, потому что я до того как на комбайнера выучился, шесть лет молотобойцем работал, и рука у меня стала невыносимо тяжелая.

Вот так, братец ты мой, семейная жизнешка и шла у нас раскорякой до той поры, пока меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас, в разлуке, мне легче? Как бы не так! Скажу тебе откровенно и по секрету—никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь! Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут, на фронте, приятно получить письмо из дому, читают их один одному вслух, вот и ты мне письма от сынишки прочитывал, а я жениного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Еще когда под Харьковом были, получил от нее раз за разом три письма, и каждое письмо начинается так: «Дорогой мой цыпа!». Прочитаю, — и уши у меня огнем горят. Откуда она это куриное слово выковыряла—ума не приложу, не иначе—из художественной книжки. Ну, писала бы по-людски — «дорогой Ваня» или там еще как, а то — «цыпа». Когда дома был — все больше рыжим чортом звала, а как уехал на фронт — сразу «цыпой» сделался. И во всех письмах скороговоркой, бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах, да

такими непонятными, книжными словами, что у меня от них даже туман в голове сделается и какое-то кружение в глазах...

Прочитал я эти невыносимые письма два раза подряд и сделался от них просто вроде пьяного. Слюсарев из второго взвода подходит, спрашивает: что, мол, жена пишет новенького? А я письма скорее в карман прячу и только рукой ему махаю, отойди, дескать, милый человек, не тревожь ты меня. Он спрашивает: «Все ли благополучно дома? По лицу, — говорит, — вижу, что у тебя несчастье». А что я ему скажу? Придумал и говорю: бабушка, мол, у меня померла, ну он и успокоился, отошел.

Вечером сел я, пишу жене. Поклоны деткам и всем родным передал, об своей службе написал все чин-чином, а потом пишу: не называй меня, пожалуйста, разными неподобными кличками, есть у меня свое крещеное имя, может, лет тридцать пять назад и был я «цыпой», а сейчас вполне в петуха оформился, и вес мой — восемьдесят два килограмма — вовсе для «цыпы» неподходящий. А еще прошу — брось ты про эту любовь писать и не расстраивай мое здоровье, пиши больше про то, как дела идут в МТС, и кто из друзей остался дома, и как работает новый директор.

И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал — и так меня жаром и охватило!

Пишет: «Здравствуй, мой любимый котик!», а дальше опять на четырех тетрадочных страни-

Пенз. Обл. Б-ка
им. М. Ю. Лермонтова
Читальный зал

цах про любовь; про МТС—ни слова, а в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки! Видно, из книжек списывает про эту проклятую любовь, иначе, откуда же она выкопала какого-то Эдуарда, и почему в письмах столько разных запятых? Сроду об этих запятых она и понятия не имела, а тут наставила их столько, что не перечтешь, у любого конопатого человека на морде конопин меньше, чем запятых у ней в одном письме. А прозвища? Сначала — «цыпа», потом — «котик», чего же дальше ждать, думаю? В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или еще каким-нибудь кобелиным прозвищем. Да что я, в цирке родился, что ли? Из дому захватил я учебник про трактор «ЧТЗ», — с собой ношу на случай, если когда захочется почитать, — так вот хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышло невестке в отместку, а потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей... Что ты мне посоветуешь, Микола?

Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными опущенными книзу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки — тени не успевшей сбежать с губ улыбки.

* * *

Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка и, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех, потом кто-то прокричал молодым, звучным тенорком:

— Я говорил тебе, что свеча барахлит. Шведский ключ у тебя? Неси его сюда, миленький! Неси, рыбий глаз!

В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво перерутивался с поваром Лисиченко.

— Опять каши наварил, гнедой мерин?

— Опять. А ты не ругайся.

— Вот где у меня сидит твоя каша, понятно?

А мне наплевать, где она у тебя сидит.

— Ты не повар, а так, чорт знает что. Никакой выдумки не имеешь, ни одной хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова, как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второе сготовил...

— Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких!

— Три недели, кроме пшенной каши, ничего от тебя не получаем, так делают порядочные повара? Сапожник ты, а не повар!

— А тебе что, антрекота захотелось? Или может, свиную отбивную?

— Из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий, раз'елся-то, как интендант второго разга!

— Ты поосторожней, Петька, а то ведь у меня кипяток под рукой... В медсанбат-то ходил?

— Ходил.

— Ну, и что?

— А ничего.

— Чего же ты ходил?

Лопахин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко, подбочениясь, смотрел на него, ждал ответа.

— Так просто ходил, знакомых искал,—равнодушно сказал Лопахин.

— А там одна была славненькая... Не клюнуло?

— Я и не старался, чтобы клюнуло.

— Ну ты это брось! Я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. Не помогла, стало быть, и медаль? Да и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден—тогда другое дело, а то, подумаешь, невидаль—медаль за отвагу! Там, браток, не с такими орденами попадаются.

— Дурак,—беззлобно сказал Лопахин.—Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошелся по хутору. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отощал, что даже жену перестал во сне видеть.

— А что же тебе снится, герой?

— Постные сны вижу, всякая дрянь снится, вроде твоей каши.

«Охота им языками трепать»,—подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки.

Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь.

— Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?

— Пойди с поворотом поговори, у меня голова болит,—хмуро сказал Николай.

Лопахин сощурил светлые, разбойничьи глаза и понимающе покачал головой.

— Все ясно: подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль? Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело.

С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на полтораста—сто метров, но, когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя с хода огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая, глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли, но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли высунулся длинный ствол

ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка, хлопнул выстрел, и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая:

— Эй, ты, брюнет с усами! Живой?—Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина.

— Что же ты не стреляешь, в гроб твою душу?! Не видишь, вон они лезут!—заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи.

Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшей на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик.

После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил:

— А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?

Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал:

— Нашел я тебя все-таки! Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе.

Они присели около землянки, закурили.

— А ловко ты последний танк подбил,— сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. —

Я думал, что вас обоих завалило землей, смотрю — высовывается ружье...

И тогда Лопахин насмешливо прервал его:

— Вот-вот, этого я и ждал... Моей работой ты восхищаешься, а почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищения!

Николай, улыбаясь, ответил, что замешка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски. Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал:

— В бой собрался, а потом оказалось, что к бою-то ты и не подготовлен? В наших отношениях с тобой одного только нехватает: ты бы, совесть в карман положивши, мне только патрончики подбрасывал да похваливал меня, а я бы за тебя воевал... Так, что ли? На красоту были бы отношения!..

Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул кургую, сильную руку, добродушно сказал:

— А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала — воевать вместе будем. Давай познакомимся, мы с тобой, кажется, земляки. Ты—Ростовской области? Ну, вот, а я из города Шахты. Будем друзьями.

С того дня они и на самом деле подружились, простой и крепкой солдатской дружбой. Насмешливый, злой на язык, бабник и весельчак, Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанно-

го, молчаливого Николая, и, глядя на них, старшина Поприщенко — медлительный пожилой украинец, не раз говорил:

— Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельнова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить то тесто и слепить из него человека,—может, и получился бы из двоих один настоящий человек, а может, и нет, кто ж его знает, что из этого месива вышло бы?

У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил:

— Давай за мост пойдем, там глубже будет.

Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге, тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора, им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом, черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем—побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом.

— Эй, ты, щеголь! Возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться, . как-нибудь ототрем тебя,—проходя, сказал Лопахин.

Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся.

— Вот, Микола, тягач, так тягач! Сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит?

Подержался я за него и вроде как дома, в своей МТС, побыл... Этот мотор смело три сеялки комбайнов попрет, даю честное слово!

Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся, потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе.

* * *

Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом.

— Мрачноват ты нынче, Николай...

— А чему же радоваться? Не вижу оснований.

— Какие еще тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался! Солнце, речка, кувшинки вон плавают... Красота да и только! Удивляюсь я тебе: старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь: если дали нам духу, так это уже все? Конец света? Войне конец?

Николай досадливо поморщился, сказал:

— При чем тут—конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград... Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное

[illegible] на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них и все топаем и когда упремся неизвестно. Ведь это же тоска, вот так итти и не знать ничего! А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно!—Николай скрипнул зубами, и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением, потом заговорил уже спокойнее и тише:

— Ото всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь — живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают... Иди ты к чорту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно! Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьесы, ты даже ухитрился вон в медсанбат ходить...

Лопахин с хрустом потянулся, сказал:

— Жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее и хоть сразу—в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу!

— Слушай, иди ты к чорту!

— Нет, серьезно! При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас! Не докторша, а шестиствольный миномет, даже опаснее для нашего брата-солдата, не говоря уже про командиров.

Николай молча, угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде, и тогда Лопахин сдержанно и зло заговорил:

— А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать, понятно тебе? Бьют нас? Значит, по делом бьют. Во-

юйте лучше, сукины сыны! Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле, учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете — не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, об'ясни мне: почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирий величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придется или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся да когда в бой будем итти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня — шипеть слюна будет, потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно! А ты и хвост поджал и слезой облился. «Ах, полк наш разбили! Ах, армию разбили! Ах, прорвались немцы!». Прах его возьми, этого проклятого немца! Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем, то при наступлении вдесятеро больнее бить будем! Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им и отступать не придется, не на чем будет! Как только повернутся задом на восток—ноги сучьим детям повыдергиваем из того

места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу: при мне ты, пожалуйста, не плачь, все равно слез твоих утирать не буду, у меня руки за войну стали жесткие, неровен час, еще поцарапаю тебя...

— Я в утешениях не нуждаюсь, дурень, и ты красноречия не трать понапрасну, а лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем?—сказал Николай.

— В Си-би-ри?— протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами.—Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться! Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка—мой второй номер — говорит: «Дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся». А я ему говорю: «Если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь—бронебойного патрона не пожалею, сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башню так и собью с плеч!» Он—назад: говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил, разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятный разговор и покончили.

Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног, потом повернулся лицом к Николаю.

— Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева; эти слова будто бы сказал известный генерал сказал: «Если бы каждый

красноармеец убил одного немца—война давно бы кончилась». Значит, мало мы их, гадов, бьем, так, что ли?

Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил:

— Арифметика довольно примитивная... Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению—война закончилась бы, пожалуй, еще скорее.

Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся.

— Как же генералы без нас могут сражения выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему, то же самое, что жених без мужского отростка, а мы без генерала,—что свадьба без жениха. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы да так до сих пор и клюют. Ну, он и уморился, духом упал и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том, как бы его самого еще лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так: чуть где неустойка на фронте вышла—шопотом генералов ругают: и такие они, и сякие, и воевать-то не умеют, и все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты, да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы—самые несчастные люди на войне. Ну, что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть,

как я говорю. Раньше, бывало, по глупости я сам завидовал генеральскому званию. «Эх, думаю, до чего же чистая жизнь! Ходит нарядный, фазан—фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать...» А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался.

Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком, и вот как-то поднимают роту в атаку. Что-то замешкался я, по совести говоря—огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться, — а командир взвода подбегает, наганом грозит и орет: «Вставай!..» и матом меня, понятно? Сходили мы в атаку, после этого я и думаю: «Ну, хорошо, я—рядовой и получил за свою неисправность один матюжок; я отвечаю только за одного себя, а командир дивизии отвечает за тысячи людей, в случае неисправности с его стороны сколько же он получает матюков? А командующий армией?» Начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь! Предпочитаю быть рядовым.

Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает; под глазами у него мешки от тяжелых размышлений, голова раскалывается от разных предположений: все ему надо предусмотреть, все предугадать... И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему! Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца, а Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов,

а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и конец бал! Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала на чем свет стоит! Ругают потому, что искренно думают, будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут не при чем. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает, но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки—тысячи матюков!—как бабочки вокруг лампы порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку, берет он трубку, а сам думает: «Несчастная моя мамаша! И зачем ты меня генералом родила!» По телефону его матерно не ругают, в Москве вежливые люди живут, но говорят ему, допустим, так: «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували-одевали, поили-кормили, а вы такие номера откалываете? Грудному ребенку простительно пеленки пачкать, на то он и есть грудной ребенок, а вы — не ребенок, и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь об'яснить». Тихий такой голос говорит, вежливый, а у генерала от этого тихого голоса одышка начинается, и пот по спине бежит в три ручья...

Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть! При всем моем честолюбии не же-

лаю, и баста! И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: «Берите, товарищ Лопахин, на себя командование эпской дивизией»,—то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москва-реку—вот так!

Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую, плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал:

Скорее окунайся, а то утоплю!

Николай сразбега бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину.

- Ты у меня сейчас попыряешь, дьявол кривоногий!—улыбаясь, говорил он и уже готовился схватить Лопахина, но тот скорчил испуганно-глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми, блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами.

Купанье освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-новому взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца.

— До чего же здорово! Будто заново на свет народился!—сказал он Лопахину.

— После такого купанья по стопке бы выпить да хороших домашних щей наверцуть, а этот проклятый богом Лисичечко опять наварил каши, чтоб он подавился ею!—раздраженно

сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину.—Пойдем, разве, попросим щей у какой-нибудь старушки?

— Неудобно

— Думаешь, не даст?

— Может, и даст, но как-то неудобно.

Э, чорт, а если б кухни не было? Какое там неудобство, пойдем! В своей родной области да чтобы щей не выпросить?

— Мы ведь не странники, и не нищие,—нерешительно сказал Николай.

Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них—высокий и худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом—нес в руке мокрый узелок, другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось, почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поровнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил:

— Что у вас в узле, орлы?

— Раки,—ответил неохотно высокий.

— Ого! Где вы их достали?

Возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода, прямо страсть!

Как же это мы с тобой не додумались!—с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая, и деловито спросил у высокого:—Сколько наловили?

— Около сотни, но они не крупные.

— Все равно для двоих это много,—решительно сказал Лопахин.—Принимайте в компа-

нию и нас. Берусь достать ведро и соли, варить будем вместе, идет?

— Сами наловите.

— Да что ты, милый! Когда же мы теперь успеем? Угощай, не ломайся, а как только Берлин займем—пивом угощу, честное бронебойное слово!

Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул:

— Вот это утешил!

Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал:

— Впрочем, могу и сейчас, по рюмке водки на нос у меня найдется, сохранял ее на случай ранения, но сейчас по поводу раков придется выпить.

— Пошли!—коротко сказал высокий, обрадованно блеснув глазами.

* * *

Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшая на одной петле ставня, прогнившие ступеньки крыльца—все говорило о том, что в доме нет мужских рук. «Хозяин, наверно, на фронте, значит, дело будет»,—решил Лопахин.

Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и приложив к глазам сморщенную, коричневую

ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил:

— А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить.

Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала:

— Соли вам? Мне вам кизека вот этого поганого жалко дать, не то что соли!

Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил:

— За что же такая немилость к нам?

— А ты не знаешь за что?—сурово спросила старуха.—Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас вволюшку! А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых, нету! Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было, сколько на свете я живу, а не помню! По утрам уж слышно, как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали! Не дам! Ступай отсюдова!

Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал:

— Ну, и люта же ты, мамаша!

— А не стоишь ты того, чтобы к тебе доброй быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков?

— Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается.

Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло.

— Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?

Лопахин закряхтел и сморщился, как от зубной боли.

— Это все мне без тебя известно, мамаша! Но ты напрасно так рассуждаешь...

— А как умею, так и рассуждаю... Годами ты не вышел меня учить.

— Наверно, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала.

— Это у меня-то нет? Пойди, спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого, младшего сынка, убили в Севастополе-городе, понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю, а заявись сейчас сыны—я бы их и на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать—так воюйте, окаянные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людями свою старуху-мать!».

Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал:

— Ну, что ж... извините, мамаша, дело наше спешное, пойду в другом дворе добуду ведро.— Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Чорт меня дернул сюда зайти! Поговорил, как меду напился...».

— Эй, служивый, погоди-ка!

Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске.

— Посуду тогда принеси,—все так же строго сказала она.

Всегда находчивый и развязный Лопахин невнятно пробормотал:

— Что ж, мы люди не гордые... Можно взять... Спасибо, мамаша!—И почему-то вдруг низко поклонился.

А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще...

Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце, сказал:

— Что-то долго не идет наш бронебойщик, видно, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить.

— Успеем,—сказал другой.—Капитан Сумское с батальонным комиссаром только недавно прошли к зенитчикам на телефоп.

А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрейками трудно будет косить такую густую, полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на завалинке, и, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал: «Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались и вот уже говорят об урожае, Звягинцев возится с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварить раков... Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война—это вроде под'ема на крутую гору, победа—там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них—на заднем плане, главное—добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова подымаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а под'ем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но доползут!»

Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба,

но вскоре размышления его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал:

— Ну, и жарища! Прямо адово пекло.—И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить — слышал он его разговор со старухой или нет?

— Насчет щей не интересовался?—спросил Николай.

— Какие там щи, если раков будем варить!— раздраженно сказал Лопахин.

— Что же ты так долго там пробыл?

Лопахин воровато повел глазами, ответил:

— Старушка такая веселая, разговорчивая попалась, никак не уйдешь. Все ее интересует: кто мы, да откуда, да куда идем... Прямо прелесть, а не старушка! Сыны у нее тоже в армии, ну, она увидела военного и, конечно, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала...

— И ты отказался?—испуганно спросил Николай.

Лопахин смерил его уничтожающим взглядом.

— Что я—стра'шник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?

— Напрасно отказался,—грустно сказал Николай.—За сметану можно бы было заплатить ей.

Глядя в сторону, Лопахин сказал:

— Я не знал, что, ты—такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну да это дело поправимое: обратно ведро я не понесу, хватит с меня этого удовольствия, ты отнесешь и кстати сметаны попросишь. Старушка такая

добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала: «До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова все им отдать!» Ну, пошли, а то раки наши подохнут к чорту!

* * *

Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни из окутанной паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопахин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил:

— Ну, просто совсем как на Садовой в гостинице «Интурист»: укропчиком пахнет, свежими раками... Полдюжины пива бы сюда, ледяного, трехгорного, и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи! От этих ароматов я в огонь могу свалиться!

По переулку, с интервалами, шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зеленой краской, но уже во многих местах продырявленная пулями, с изуродованным осколками капотом. Прислонясь к бортам, на ней сидели легкораненые: оттеняя их смуглые, загорелые лица, ослепительно белели свежие бинты.

— Хоть бы брезентом накрыли машину,—с досадой сказал Николай.—Испекутся ведь на такой жаре!

Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул.

— За каким лешим повесло их днем? Степь голая, налетят самолеты, ну и наделают лапши. Соображения у людей нету!

— А может, они по необходимости тронулись,—возразил другой.—Вон что-то и саперы перестали молотками стучать, одни мы прохлаждаемся.

Николай прислушался: в хуторе стояла нехорошая тишина, слышался только удаляющийся шум автомашин да беззаботное воркование горлинки, но вскоре с запада донесся знакомый, стонущий гул артиллерийской стрельбы.

— Улыбнулись нам раки!—с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато, по-шахтерски выругался.

Раков, действительно, не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумеков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженой головой, слегка волнуясь, сказал:

— Товарищи! Получен приказ—занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка, надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего!

Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживленно блестя глазами, сказал:

— В бой итти со знаменем—это подходяще, а уж отступать с ним—просто не дай бог! За

эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал: «Хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез, а то идем к противнику спиной и со знаменем». Даже как-то конфузно перед людями было и за себя и за это знамя... — Он помолчал немного и спросил:—Как предполагаешь,— устоим?

Николай пожал плечами, уклончиво ответил:

— Надо бы устоять.—А про себя подумал: «Вот она, романтика войны! От полка остались рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей да кухню, а теперь вот идем становиться заслоном... Ни артиллерии, ни минометов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От старшего по званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки, но они, наверное, потянутся к Дону, прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону, по степям бродят какие-то дикие части, обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом, и нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок... И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении!»

На минуту Николай тревожно подумал: «А что, если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти?»

Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, мысленно махнув на все рукой, он с веселой злостью

подумал: «Э, да чорт с ним! Скорее к развязке. Если успеем окопаться—на фрицах сегодня отыграемся! Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый, большинство — коммунисты и капитан хорош,—продержимся!»

Около ветряной мельницы босой, белоголовый мальчик лет семи пас гусей. Он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза: до чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы... Неуловимое сходство было и в чертах лица, и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то от теперь, его маленький, бесконечно родной, Николенька Стрельцов? Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына, но Николай сдержался: перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чем-либо постороннем, так будет лучше...

Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько

осталось у него в вещевом мешке патронов. Но потом все же не выдержал искушения, оглянулся: мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий, горячий клубок...

* * *

Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как кремень. Лопата с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, отваливая мелкие, крошащиеся куски, оставляя на месте среза глянцевито блестящий след.

Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две коротких пулеметных очереди и ушел на восток. «Теперь вскорости жди гостей», — заговорили красноармейцы.

Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной, по лицу бисером катился пот.

— Это не земля, а увечье для народа!—сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо.—Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. Спасибо, хоть немец не нажимает, а то, под огнем лежа, в такую землю не сразу зароешься.

Николай прислушивался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку.

В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце, и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и, с остервенением сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа.

— Ну как, доходная работенка? — спросил Звягинцев.

— Вполне.

— Вот, Микола, война так война! Сколько этой земляцы лопаткой перепашешь — прямо страсть! Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь!

— А ну, кончай разговоры! — строго крикнул лейтенант Голощеков, и Звягинцев с не присущей ему ловкостью нырнул в окоп.

Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку, в выдолбленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты, в ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудрым солдатским имуществом россыпью лежали патроны, и только тогда внимательно осмотрелся по сторонам.

Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого тер-

ки и боярышника. Два глубоких оврага, начинаясь с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут.

Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Устало привалившись спиной к стенке окопа, Николай смотрел на бурую, выжженную степь, густо покрытую холмиками старых сурчиных нор, на скользившего над верхушками ковыля, такого же белесого, как ковыль, степного луня. В просветах между стебельками полыни виднелась непроглядно густая синева неба, а на дальней возвышенности в дымке неясно намечались контуры перелесков, отсюда казавшихся голубыми и словно бы парящими над землей.

Николая томила жажда, но он отпил из фляги только один глоток, зная по опыту, как дорога во время боя каждая капля воды. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В томительном ожидании прошло еще с полчаса: Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их четырнадцать. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за отко-

сом балки приземистый, бронированный бензозаправщик.

И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьются сердца, и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую, сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его; когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с не свойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом... А потом, Коля, свидание со смертью—это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете: ты и она... Каждый человек—живой, чего же ты хочешь?»

Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие: короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму... Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело стало делать десятки мелких, ненужных движений: зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от

солнца диски могли куда-то исчезнуть, потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрываясь взглядом от балки, немного подвинул автомат, а когда с бруствера посыпались сухие комочки глины,—носком сапога нащупал и растоптал их, раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош, пошевелил плечами... Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева.

В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота.

«До чего же обнаглели проклятые! Идут, как на параде... Ну, мы вам сейчас устроим встречу! Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам»,—думал Николай, с тяжелой, захлестывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов.

Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как словно от ветра, колыхнулся рослый метрах в двухстах впереди куст боярышника, и, срезанные пулями, с него посыпались листья и ветки.

Танки повели с хода и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов, а потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам, и Николай прижался к стенке грудью.

готовый в любую секунду стремительно пригнуться.

Когда танки прошли большую полосу расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики, в бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы.

Некоторое время отставшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем.

Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов, второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелось еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться пехоте, по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам.

Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на сто двадцать, воспользовавшись тем, что прикрывавшее центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение.

Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей

гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната.

С левой стороны танка поднялся прорезанный косым бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт.

Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину; спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми, пепельными клубами.

Придавленная пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец, она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин.

Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева:

— Микола! Умыли мы их, б...! Они с хода хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут — мы их опять умоем!

Николай зарядил порожние диски, попил не-

много противно-теплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился несколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса, заметно склонилось на запад солнце, и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть.

Еще раз глотнув воды, Николай с сожалением отнял от пересохших губ фляжку, осторожно выглянул из окопа. В ноздри его ударил тяжелый запах горелого железа и бензина, смешанный с горьким, золистым духом жженой травы. Около ближайшего танка выгорала трава, по верхушкам ковыля метались мелкие, почти невидимые в дневном свете язычки пламени, на склоне дымились обуглепные, темные остовы неподвижных танков и словно бы больше стало холмиков возле сурчиных нор, только теперь не все они были однообразно-бурого цвета, многие из них отсюда, с высоты, казались более плоскими, серо-зелеными, и Николай, всмотревшись, понял, что это трупы убитых немцев, и в душе пожалел, что серо-зеленых холмиков не так-то уж много, как хотелось бы ему...

Из балки застучали пулеметы. Николай спрятал за бруствером голову, отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве, ничто не изменилось: так же высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями, белое с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, попрежнему стояло в зените и словно совсем не двигалось, все так же откуда-то с вышины звучали простые, но

безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков, лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие ее перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую на взгляд грубоватую плотность...

Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение, но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотою грейдер: танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб, по усеянному трупами склону.

И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота, и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек и, уже горящий, все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башней, вел огонь, а по накалившейся броне его уже стремительно скользили желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще-темная краска.

Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие и порою закрытые солнцем фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка, но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул

и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза.

— Опять их умыли...—зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. — Ты живой, Микола? Живой? Ну, и хорошо. Хватит ли у нас припасу умывать их до конца, вот в чем беда... Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб...

Он еще что-то бормотал приглушенно и невнятно, но Николай уже не слушал его,—низкий, прерывистый, басовитый гул летевших где-то немецких самолетов приковал к себе его внимание.

«Только этого и недоставало...»—подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце.

Двенадцать «Юнкерсов» шли северо-западнее высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав: «Пронесло!» Но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту.

Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу стремительно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий, нарастающий визг бомбы.

Николай не слышал потрясшего землю, обвального грохота взрыва, не видел тяжко взлыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера.

с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороною каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень, и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный...

Очнулся Николай, когда самолеты, с двух заходов сбросав свой груз, давно уже удалились, и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску.

Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка; слабел их огонь—мало оставалось способных к защите людей; уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты; оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой навалившей в окопе земли... Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукою по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все—немцы были близко.

Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск, долго приподнимался, пытаясь встать на колени. У него кружилась голова, кислый запах извергнутой пищи порождал новые приступы тошноты. Но он преодолел и тошноту, и головокружение, и отвратительную, обезволивавшую все его тело слабость. И он стал стрелять, глухой и рано-

душный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями: жить и биться до последнего!

Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились три «КВ», сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло—почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу.

Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них, так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались...

Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощеков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, — он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса, он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться, старчески бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог... Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно—сбылось! — высоту отстояли, и во-

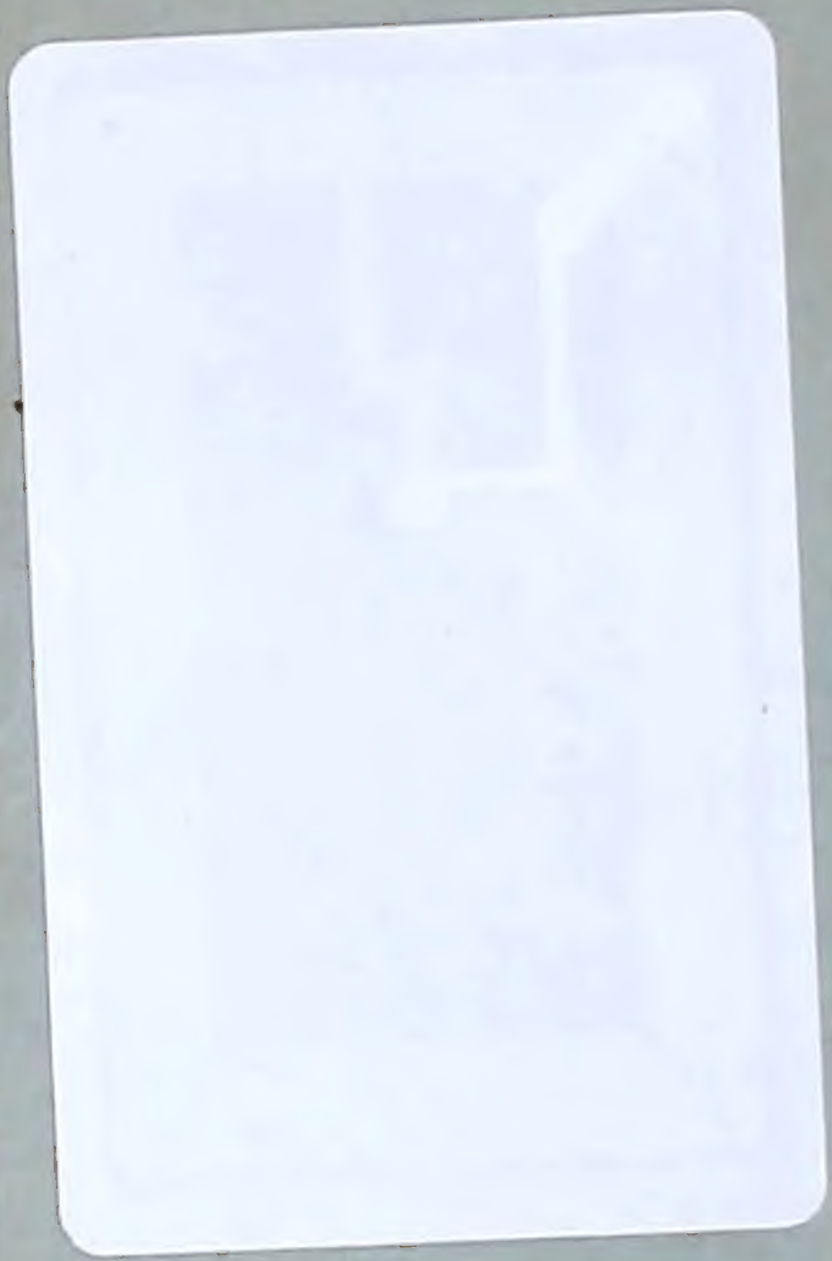
время подошла подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг!..

Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные; не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой—прижимая к боку выставленный вперед автомат; не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков... Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки; иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голоском:

— Ореликн! Родные мои, вперед!.. Дайте им жизни!

Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая, трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь—спасительное и долгое беспамятство.

Пенз. Обл. Б-ка
имени
М. Ю. Лермонтова
Читальный зал



Цена 2 рубля

Ответ. редактор Н. И. СТРАХОВ.
Тех. редактор Г. М. ГОРЕНШТЕЙН.
Отв. корректор Ф. З. КРУТКОВИЧ

ФЛ317 Формат 4х6 кв. Об'ем 56 стр. Тир. 3100. Зак. № 304

Типо-литография издательства «Сталинское знамя».
Пенза, ул. Кирова, 65.

п-3-5